

3. ХАТА

Беларусь — музей под открытым небом. Главный экспонат в нем — хата. Такого экспоната нет ни в одном музее мира: его можно не только трогать руками, но и эксплуатировать.

Дарю историкам сенсационный факт: в ноябре 1993 года в Вороновском районе я гостил в жилой хате, где сохранился земляной пол. Хата состояла из кухни с громадиной-печью и двух котушков. Земляной (глиняный) пол блестел как паркетный, до того был отшлифован годами и подошвами. В хате стоял особенный теплый дух. На узких окнах висели красивые занавески, под потолком светила электрическая люстра, возле серой печи в кухне притулился невыносимо белый холодильник.

Хозяину хаты-музея перевалило за сорок. Невысокий толстеющий крепыш, он ходил по улице в одной рубашке, не ежился под леденящим ноябрьским ветерком. Я, говорит, зимой выхожу на улицу в трусах, и ничего, даже не кашляю. В трусах он выскакивает, когда услышит лай сторожевой собаки напротив хаты, через деревенскую улицу, где вырисовывается двухэтажный коттедж, а глубже от улицы построены большой кирпичный сарай для скота и гараж для двух тракторов. В трусах, с охотничьим ружьем наперевес владелец старозаветной хаты бежит защищать хозяйство от воров, зачистивших к фермеру за легкой наживой. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, он попросил меня не называть его имени и деревни.

Деревня, впрочем, не его. Получив рядом с ней 47 гектаров земли, фермер выкупил пустующую хату, перевез жену с детьми, начал вкладывать кредитные деньги в дело. Земляной пол вызывал у него восхищение: хорошо прогревается, не пылит, не потрескался за столько-то лет. Точного возраста хаты не знали ни он, ни наследники умершей хозяйки-бабушки, продавшие обременительное наследство. Закопченный чердак подтверждал, что хата когда-то топилась по-черному (курные хаты Беларуси в основном ушли в историю в XIX веке). «Моей хате не меньше ста лет!» -- похвалился хозяин. «Молодая еще! -- остудил я гордеца, -- Белорусские хаты могут жить больше».

Мой младший брат Николай занимался этнографией, народной материальной культурой. Он напечатал много статей, призывающих беречь то, что создано руками народа. Однажды, когда я приехал к нему в Брест, брат спросил, хочу ли увидеть самую старую в Беларуси хату. Безусловно, хочу!

К невиданной хате надо было ехать километров семьдесят, в Каменецкий район, в деревню Рожковка. Длинной узкой улочкой, плотной застройкой, грязью во дворах, большими гнездами аистов на замшелых крышах деревня выдавала солидный возраст (видимо, не горела в войну). В обитаемых хатах окошки светились белыми занавесками, в брошенных — чернели бойницами. В искомой хате, стоявшей впритык к уличной колее, окна были выломаны с рамами.

Входная дверь висела наперекосяк, на одном крюке, массивном, кованном, теплом, захотелось потрогать его руками. Дверной проем показался

слишком низким, дверь сбита из трех широких сосновых досок. Щеколда на двери вырезана из липы. В крохотных сенцах отсутствовал потолок, сквозь крышу-дранку виднелись облака. Дверь из сеней в светлицу унесли, кованные крюки-завесы торчали в стене, вырвать их у вандалов не хватило порогу.

Одна маленькая комната -- вот и вся хата. Потолок не предусматривался, его заменял свод крыши. Хата топилась курным способом, изнанка прохудившейся крыши чернела, казалось, она пахнет дымом и подкопченным окороком. В массивной балке, связавшей стены, вбит надежный крюк, мы решили, что он предназначался для детской люльки. В стене рядом выстроились деревянные крючки, на них, конечно же, вешали одежду. Вдоль стены стояла широченная лавка, над лавкой висела полка для посуды.

Сруб древние строители собрали из мощных обтесанных плах. Таких толстых и, следовательно, высоких сосен сейчас нет и в соседней Беловежской пуще. На земляном полу валялись веретена, сломанные деревянные гребешки, разбитые горшки, тряпье, детали от кросен, кучи высохшего человеческого дерьма, упавшие с крыши дранки... В углу до белого песочка кто-то вырыл яму. Видимо, искали клад.

Брат подвел меня к красному углу хаты, где, безусловно, висели иконы, что подтверждали свидетели -- тоненькие квадратные кованные гвоздики. На темной стенной плахе я прочитал надпись, глубоко выцарапанную острым предметом: «1637 Року новембер, дня 9». Я с душевным трепетом положил ладонь на восточку из веков. Чтобы поздороваться с пращуром-земляком.

Запомнилось, как праздник в детстве: в июле 1986 года я своими глазами видел белорусскую хату, простоявшую 349 лет! Береза, высоко стоявшая над ней, была лет на двести моложе.

Самая старая в Беларуси хата, со знанием ситуации сообщил мне брат, была взята на государственный учет как памятник старины. Но соответствующей таблички мы не обнаружили. Хату не накрыли, не вставили окна и двери. Хату разрушали небеса. Хату оскверняли и разворовывали люди. Хату бросило на произвол судьбы государство, равнодушное к собственной истории.

Мы с братом ничего не посмели взять на память о древнейшей хате. Страшновато что-то брать с могилы, увозить с собой.

Солнце, взрастив для хаты столетнюю сосну, продолжает опекать свое творение, отчего хата по мере взросления меняет цвет: из бело-золотистой последовательно и неотвратно превращается в темно-медную, в коричневую, в черную, в смоляную.

Хата белоруса по воле солнца черна как пещера. Это не могло не угнетать душу. Чтобы освободиться, белорус сажал возле хаты березу. Так сосна и береза, вместе выросшие в белорусском лесу, вновь встречаются у белорусской хаты. И никогда не расстаются.

Высокая белая береза над приплюснутой черной хатой -- это небо и земля, соединенные в белорусской душе. Если бы не береза, в темной тесной хате, обустроенной донельзя утилитарно, было бы еще меньше света и

надежды. Береза над хатой — пожалуй, самый решительный протест белоруса против собственной скромности.

Чтобы наглядно убедиться в извечной неприхотливости белоруса, хату из деревни Рожковка надо было бы перенести в музей «Берестье», оборудованный в 1982 году на территории Брестской крепости. Археологи обнаружили здесь городище 11-12 веков, мощный культурный пласт прекрасно законсервировал хаты наших предков. В отдельных строениях сохранились двенадцать венков деревянного сруба!

Обработав бревна для сохранности специальным составом, ученые реконструировали древнюю деревню с ее жилыми и хозяйственными постройками, с мостовыми и заборами. Посетителей музея поражают крохотные слепые хатки и невероятная теснота белорусской деревни XII века.

Тут меня могут одернуть: в XII веке белорусов как нации еще не существовало. Не буду спорить, только спрошу: что ярче и точнее всего выдает национальный менталитет, если не жилище? Перенесите хату из Рожковки в археологический музей «Берестье», снимите с нее крышу, поставьте рядом с наидревнейшей хаткой — и вас поразит их ... сходство. Суть не в том, что рожковская хата немного больше, а в том, что она, как в древности, такая же предельно скромная, чем выдает самоограничение, самоуничтожение жилья. Если вы знаете, что обитаемых хатенок, построенных после войны по подобию рожковской, в Беларуси тысячи, то вас озадачит консервативность белоруса.

Хата в Рожковке уникальна тем, что не сгорела, как соседские, в многочисленных войнах. После каждой войны белорусы возводили на пепелище новое жилище по чертежу (мысленному) старого. Время, цивилизация и культура вносили в хату незначительные коррективы: расширенные застекленные окошки, сени, печной дымоход, деревянный пол... В основе хата сохраняла тесноту и простоту, демонстрируя ограниченность фантазий у строителей. Последний раз белорусы показали себя древним племенем после Великой Отечественной войны, когда возродили сожженные деревни, наспех понаставив примитивных хат.

Наша семья после войны жила в хате, где в сенях не было потолка, а в единственной комнатке располагались печь, обеденный стол, полка над ним, лавка, швейная машинка, кровать родителей, кровать детей (меня и брата). Когда мне было четыре года, хата сгорела от ночного пожара. Красно-черное пламя над хатой помню отчетливо, так же, как свой ужас и крик. Удивительно, что это помнил и брат, которому при пожаре было два года.

В соседней заболотной деревне Соболи отец купил старую хату, пережившую войну, перевез в Горск. Я, пятилетний, помогал строить ее на новом месте. Изо всех сил упирался-держал соломенные веревки, их дед Михаил туго скручивал, чтобы связать ими кули из той же соломы, предназначенные для крыши. В нашей новой хате поначалу точь-в-точь сохранялась планировка старой: мини-сени, каморка, комната-кухня-спальня площадью 30 квадратных метров.

В начале шестидесятых отец перешел работать экскаваторщиком в Сигневичское строительно-монтажное управление мелиорации, там платили

ощутимо больше, чем в совхозе, где он был трактористом. Относительный достаток позволил начать реконструкцию хаты, она длилась пятнадцать лет. Отец перекрыл хату дранкой. Когда дранка сгнила, заменил ее гонтой. Черные кривые стены ошалевал, выровнял доской-вагонкой. Красить шалевку не стал, в конце шестидесятых хаты мало кто красил, на это удовольствие не хватало денег. Изменению подверглась внутренняя планировка. Вместо каморки отец срубил из бревен кухню, потеснив заодно сени. Жилую комнату перегородил на две: спальню и зал. Прилепил к хате застекленную верандочку.

До начала шестидесятых годов, до моего десятого класса, в Горске не было электричества. Родители не разрешали нам долго читать при лампе: экономили керосин.

В середине семидесятых отец заболел раком желудка. 31 декабря 1974 года мы с братом наняли такси, чтобы перевезти отца из больницы в деревне Малечь в больницу города Барановичи. Он не вставал. Попросил по пути в Барановичи подвезти его к нашей усадьбе. С трудом приподнялся в машине на локти, выглянул наружу: «Последний раз посмотрю на хату».

Свою хату под шифером отец уже не увидел. Этот новый стройматериал был большим советским дефицитом, его выдавали по спискам, утвержденным в райисполкоме. Мелиоратору, ударнику коммунистического труда Козловичу Николаю Михайловичу шифер выделили посмертно.

С 1975 года, потеряв главу семьи, наша хата разделила типичную судьбу современной белорусской хаты, где доживает век одинокая вдова. Чтобы хата и мама не выглядели заброшенными сиротами и чтобы не отстать от односельчан, продолжающих реконструировать и украшать жилища, в середине восьмидесятых я покрасил хату в лимонный цвет.

В 1989 году наша хата попрощалась с мамой и обрела более высокий ранг современной белорусской хаты — пустующая.

После смерти матери поколебались истинно братские отношения с Николаем. Причиной разногласий сделалась пустующая хата. Брат задумал ее продать, благо нашлись покупатели (в их числе местный колхоз), предлагавшие до 3000 долларов. Я же не мог представить себя и мир без родной хаты, без ее двух берез.

Конфликт с братом разрешила его ранняя смерть в 1995 году от той же болезни, что и отца. Перед смертью мы помирились. Я постарался, чтобы хата попрощалась с братом так же, как ранее просталась с бабушкой, отцом, матерью.

Хотел бы, чтобы хата простилась и со мной.

После меня хату можно переводить в ранг брошенной. Моим сыновьям она не нужна ни в материальном смысле, ни в духовном.

Белая береза и черная хата много веков совместно формировали белорусский пейзаж, мягкий, печальный, пастельный. Беларусь — прекрасная картина, на которой белорусская деревня всегда казалась мне темно-белым

облаком, лишь прикоснувшись к зеленому полю или голубому озеру, но продолжающему парить в небе.

Неожиданно было встречать внутри легкого облака его обитателей -- заземленных, тяжелых, скованных тесными стенами жилища. Хотелось растормошить их: будьте равны небесной картине, пропустите больше света в хату, прорежьте широкие окна, приподнимите фундамент, дорастите хату до двух этажей, покрасьте крышу. Сколько же можно демонстрировать забитость! Есть ли у вас, кроме неприхотливости, желание бытового комфорта? Неужели скромность заменила вам чувство прекрасного, которое может источать архитектура дома? Почему в наших деревнях так мало хат с красивой резьбой на ставнях и фронтоне? Нет у хозяев умения или нет желания?

Как журналист, я выискивал тех, кто прорвался из хаты-пещеры вслед за березой. Им было нелегко, потому что осаждало государство. Советские инструкции и нормы, касающиеся собственного дома, носили пещерный характер, держали человека в жестких рамках.

Государство регламентировало ... размеры и высоту дома (особенно так называемого дачного). Горожанину, имеющему квартиру, государство запрещало купить в деревне пустующую хату, обустроить на современный лад.

Если крестьянин, спасаясь от фашиствующего председателя колхоза, решил уехать, он не мог продать личную хату, так как председатель применял изощренную форму пытки-мести: не выдавал справку на отчуждение земли под хатой.

Если же тебе, горожанин, деревенский дом достался по наследству от умерших родителей, ты не имеешь права его расширить, поднять. Государство разрешало, образно говоря, только переклеить обои. Если же ты посмел на фамильной усадьбе, под родной березой, в сантиметре от развалившейся хатки построить новый дом, -- смерть ему наступала неминуема. По приказу власти приползал бульдозер, кромсал по живому твой дом, твою архитектуру, твою красоту, твою душу.

Подробные сюжеты, точные адреса и фамилии по рассматриваемой теме зафиксированы в моей документальной повести «Прости, дом безымянный», опубликованной в журнале «Неман» в феврале 1988 года, в разгар горбачевской перестройки. Эту перестройку я считал партийной уловкой в том числе и потому, что государство по-прежнему не позволяло подняться хате, следовательно, -- человеку.

Типовая коммунистическая ловушка -- постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об использовании пустующих жилых домов и приусадебных участков, находящихся в сельской местности» (1 августа 1987 года). Читайте, но не верьте «Установлено, что пустующие жилые дома, находящиеся в сельской местности, в первую очередь приобретаются колхозами, совхозами... Разрешена продажа гражданам, постоянно проживающим в городах и поселках городского типа, пустующих жилых домов (с находящимися при них хозяйственными строениями), расположенных в сельских населенных пунктах на землях сельских Советов народных депутатов, колхозов, совхозов и других

предприятий, для сезонного или временного проживания при условии заключения договора с колхозом, совхозом или другим предприятием на выращивание сельскохозяйственной продукции и продажу ее излишков с приусадебных участков...»

Судьба хаты передавалась в руки местного бога, царя, воинского начальника, проводника партии -- председателя колхоза. Горожанин, рискнувший купить пустующий деревенский дом, делался крепостным. Поэтому рисковали единицы.

Брошенные хаты гнили тысячами. Не разрешая их продажу горожанам, сельские руководители не торопились их ремонтировать, модернизировать, чтобы поселить там своих работников. В колхозах и совхозах возникла чисто городская проблема -- нехватка жилья. Сегодня она переросла в катастрофу. Понимая это, президент указал ежегодно строить в каждом хозяйстве пять домиков, но, уточнил, -- дешевых. Так и делают. Посмотришь на примитивные коробочки, поставленные зачастую в низине, и вспоминаешь музей в Берестье.

В начале девяностых начал меняться типичный белорусский пейзаж, в нем появился архитектурный кубизм: на голом пространстве -- неожиданное для глаза нагромождение домиков-кубиков с красными крышами. В лексике белорусов появилось иностранное слово: коттедж. В массовом сознании за ним закрепился двухэтажный (реже -- трехэтажный) кирпичный или панельный дом, принадлежащий одной семье и построенный «на природе» (в деревне, у реки-озера, в заповеднике-заказнике).

Подобные особняки белорус раньше мог видеть у помещика, у председателя колхоза, у генерала, у директора какого-либо райторгснаба, в «экспериментальных» образцово-показательных поселках Вертелишки, Малечь, Снов, Мышковичи, ну и, конечно, в Грузии, если кто ездил на курорт. Не знаю, почему у нас их называли коттеджами. Возможно, в непривычное для белорусского языка и уха слово заложено больше эмоционального смысла, нежели понятийного.

Не могло не удивить то, что коттеджи росли быстро, кучно, как грибы после теплого дождя. И росли они главным образом в живописных пригородных местах, которые после застройки коттеджами получили название: царские села. В этом понятии тоже главенствуют эмоции: царские села, по народной вере, -- местожительство начальников и проходимцев, наворовавших денег и вложивших их в коттеджи.

С момента массового возникновения коттеджей прошло почти полтора десятка лет, но я пока не видел царского села, сформировавшегося в полноценный населенный пункт с улицей, тротуаром, водопроводом, газом, магазином, школой, аптекой, парикмахерской... Большинство коттеджей стоят недостроенными, заросшими бурьяном, тоненькими березками.

От мертвых коробок и этажей веет трагедией, мафиозными драмами, когда в разборке-споре за деньги вор убивает вора, а большой начальник съедает маленького начальника. В трех-пятиэтажных коттеджах, по воле хозяев обросших бессмысленными куполами и напоминающих церкви,

обитает не бог, а дьявол. Над претенциозными, нефункциональными башнями витают надменность и властолюбие. Глухие крепостные заборы пытаются спрятать несправедливо нажитое богатство.

Безрадостная картина: у загруженной дороги, на четырехэтажной красной стене недоделанного коттеджа, меж пустых окон метровое черное слово призывает проезжего: ПРОДАЕТСЯ. Не один год я вижу эту картину под боком у Минска. И всякий раз, проезжая мимо, желаю хозяину быстрее продать дом, даже если хозяин -- вор.

Даже если он вор -- дом останется на белорусской земле. Чем быстрее новый хозяин купит и обживет его, тем увереннее рядом с ним обживется сосед. В соседи попадет, возможно, не вор, а удачливый предприниматель, либо человек со средним достатком, либо молодая семья, занявшая у родственников денег и взявшая у государства многолетний кредит на престижное в начале двадцать первого века жилье -- коттедж.

Каждый новый коттедж, выросший на белорусской земле я встречаю возгласом восхищения: гляди-ка, у белорусов есть амбиции! Раньше я смотрел на его черную хату и подозревал хозяина в национальной забитости, в болезненной подростковой застенчивости. Оказывается, не совсем так. Скромная хата -- проявление не менталитета белоруса, а вековой бедности.

К деревне Копище, вытянувшейся на скате длинного холма, столица подобралась микрорайоном Уручье. Деревня не сдается урбанизации: пашет огороды, пасет на лугу коров и коз, содержит в порядке деревенское кладбище. Сдаются времени хаты. Нельзя без слез идти по деревенской улице, превращенной дождевыми ручьями в глубокий ров, и видеть, как из последних сил цепляются за жизнь залатанные жестью, досками и фанерой хаты, вросшие в землю почти до окон. «Держись, хата! -- шепчу я. -- Дождись, хатка, пока поднимется твой долгожданный отпрыск -- коттедж».

Символическая картина: впритык к хате, будто поддерживая ее крепкой стеной, из черноты, из гнили, из тесноты, из бедности, из веков вырастает бело-каменный дом.

2005